

✓ Моск. кинематограф, 1978, 18авт

Л. АННИНСКИЙ

ТОЛСТОВСКИЙ ЭКРАН

Леонид Андреев заявил журналистам:

— Он хочет и умереть как великий художник! Как это красиво! Как это полно! Толстому в его жизни не доставало одного последнего штриха — и вот он сам нашел этот штрих...

ТОЛСТОЙ в это время уже сошел с поезда в Астапове. Здесь его и настигли. Он лежал больной в комнате начальника станции Озолина, а в станционном буфете журналисты пили водку, обсуждали новости и слушали Софью Андреевну, которая жаловалась им, что Толстой не хочет ее видеть. Мейер был здесь. Патэ сказал ему: «Снимите вокзал, и чтобы первым планом было видно название станции. Снимите семью, всех знаменитостей, а также вагон, в котором они размещаются». Все это Мейер уже снял. В дом его не пустили. Он снял окно, за которым лежал Толстой. Снял Софью Андреевну в шубе и платке, прикинувшую к стеклу.

7 ноября в шесть утра один из докторов крикнул в форточку:

— Умер!

Мейер проснулся от голосов, вскочил и, схватив аппарат, побежал к дому Озолина. Там уже толпились люди. Мейер снял вынос тела и погрузку в вагон...

К ЭТОМУ моменту поспел из Петербурга Дранков. Включился и Ханжонков. Он рассчитал, что в Астапово уже не успеет. Тогда он дал камеру своему бухгалтеру Мартынову и велел тому ехать прямо в Ясную Поляну. Мартынов не подвел: он снял подготовку похорон, снял прибытие тела. Именно он, В. Н. Мартынов, снял тот знаменитый кадр, когда толпа упала перед гробом на колени, а полицейские остались стоять, тогда им крикнули: «На колени!» — и они опустились тоже. Две кассеты Мартынов отправил Ханжонкову с оказией, а сам продолжал снимать, и снимал до самого последнего момента, так что едва не опоздал на московский поезд. Ханжонковский завлабораторией Сиверсен всю ночь проявлял негативы и печатал копии. Наутро от усталости он разозлился и объявил Ханжонкову, что уходит от него к Патэ. Ханжонков не дрогнул и взял на его место Форестье. Главное — он, Александр Ханжонков, наконец-то поспел первым.

10 ноября фильм о похоронах Толстого уже крутили в кинотеатрах.

СУДЬБА ЛЕНТ.

ФИЛЬМЫ о Толстом демонстрировались всю зиму. В некоторых городах власти, опасаясь эксцессов, запрещали сеансы. Опасения имели основания: публика реагировала бурно. Лишь к весне эти ленты были потеснены очередными сенсациями. Впоследствии все они погибли: либо износились, либо в годы революции были уничтожены владельцами, протестовавшими против национализации кино. Копии сохранились лишь в семье Толстых: вспомним, что Дранков и Мейер дарили Софье Андреевне свои ленты. Много лет спустя эти уцелевшие копии попали в московский Музей Толстого. В 1961 году музей передал Госфильмофонду куски пленки, непригодные уже ни к демонстрации, ни к контратипированию. Их отреставрировали кадр за кадром, и Вера Дмитриевна Ханжонкова, ветеран Госфильмофонда и вдова Александра Алексеевича, смонтировала новый позитив. Позитив передали Музею Толстого, и музей включил его в свои материалы.

ПОСЛЕ ПРОСМОТРА.

В АВГУСТЕ 1975 года музей показывал толстовские хроники на вечере встречи с приехавшей в Москву из Рима Татьяной Михайловной Альбертини, дочерью Татьяны Львовны Сухотиной и внучкой великого писателя. Присутствие гостьи электризовало зал. В моей памяти крутилась фраза из булгаковского дневника 1910 года: как трехлетняя Танечка кушала из одной тарелки с дедушкой, а дедушка сказал:

— Когда-нибудь в тысяча девятьсот семьдесят пятом году Татьяна Михайловна будет говорить: «Вы помните, давно был Толстой? Так я с ним обедала из одной тарелки...»

Вот, думал я, даже и в дате он не ошибся: семьдесят пятый год... Я невольно искал глазами гостью, стараясь угадать ее в публике. Потом погас свет, и пошли первые кадры.

Какие-то пышные дамы. Какие-то играющие собачки. Бегущие кони, колеса экипажей, ящики багажа. Вагоны, затылки, шляпы, букеты. Сам Толстой, мелькающий в этом столпотворении предметов, кажется предметом: схватываешь шляпу, блузу, палку, бороду...

Где глаза? Знаменитые простреливающие глаза?

Ага, вот на крупном плане...

Досадливый взгляд в сторону аппарата.

Усмехнулся устало. Отвернулся. Играет с внучкой Танечкой. Что-то отвечает на вопрос. Снимает шляпу, окруженный толпой. Кланяется орущим людям.

С изумительной точностью воспроизводит камера окружение великого старца. Не его самого, а именно волны вокруг него, бегущие людские круги. В самом Толстом фиксирует реакции на эти захлестывающие волны. Камера — в этом потоке, частица его, выражение его.

Сильнейшее — смерть и похороны.

Толстой исчез. Он умирает за закрытым окном. Море человеческое бушует вокруг. Эти кадры страшны.

Трясущаяся, зажатая с двух сторон медиками Софья Андреевна кружит около астаповского дома, что-то, плача, объясняет в аппарат. Хочется зажмуриться, глядя на это. И все-таки какая-то странная признательность оператору: не дрогнул, снял! Безжалостность объектива — продолжение толпы, бессильной сдержать себя и в ликовании, и в горе. Сам становишься ее частицей, когда видишь такое.

Толстого нет. Его вообще нет в этих двух километрах перфорированного целлулоида. Нет того, чем Толстой уникален, чем непохож на миллиарды других людей, чем отмечен как неповторимое, духовное явление.

Разве что в одном кадре...

Где ранним утром в полном одиночестве он идет по пустынной опушке.

Все далеко: лес, небо, люди. Даже дымка какая-то, белесый туман в кадре — то ли от допотопного дранковского проявителя, то ли впрямь от утреннего холода.

В тишине — медленно — идет к нам — не видя нас.

Слава богу, вывалился оператор из бегущей толпы, и ночь простоял, продрог в безлюдье — подчинился ритму Толстого, его природе.

Тут я поверил: это Толстой.

ЗАЖЕГСЯ свет, вышли к столу сотрудники музея, и все стали аплодировать. Поднялась женщина, улыбнулась счастливо и старым московским говором произнесла:

— Ну, вот, я та самая Танечка и есть...

Окончание. Начало см. в №№ 180, 181, 183, 184, 186, 187, 188.